

НАДЯ



ИРИНА ЛЕВЧЕННО

Родилась в Харькове. Окончила МПГУ имени Ленина, филологический факультет, отделение журналистики. Начала свой путь в качестве корреспондента, автора и ведущей программ на ТВ. Работала в российских

корпорациях и зарубежных IT-стартапах в сфере маркетинга, коммуникаций и юмюнити-менеджмента. Писатель, преподаватель, сценарист и автор курсов. Обучалась писательскому мастерству на курсах Ирины Гусинской и в школе Vand.

Надя разогнула ноющую спину и вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. Солнце жгло из зенита, деревянная ручка серпа натерла руку, а конец рядка не приблизился ни на метр. Она слышала шумное дыхание мужа где-то неподалеку, но самого его видно не было в высокой траве. И слава богу. Смотреть в его оплывшую восковой свечой рожу не хотелось. Оглядевшись по сторонам и не обнаружив детской макушки, маячившей то тут, то там, Надя набрала в легкие побольше воздуха и проголосила:

– Ираааа, ты дээээ?

Тревога побежала по полю волнами, долетая до деревьев на границе между полями. Птицы вспорхнули от нее прочь, черной горстью семян бросившись в травяной омут.

– Бабушкаааа, я туууут! Не боооойсяяя! – донеслось в ответ, хотя макушка так и не появилась.

Непоседливая и не охочая до работы на земле егоза не поддавалась дрессировке. Белую городскую девочку привозили на лето каждый год. Здесь ее научили держать тяпку, стряхивать в банку колорадских жуков и собирать черную вишню в миску. Но особого рвения в огородном деле она не проявляла, сбегая при первой возможности.

Перехватив серп поудобнее, Надя снова принялась за работу. Траву нужно снять сколько по-

лучится, лучше – больше. Ехать на этот участок долго, а когда муж в следующий раз сподобится везти – не ясно. Вчера напился в гараже с соседом украденного из заначки жены самогона. Ох, как она кричала. Самогон тот был на продажу, его уже обещала отдать за двадцать гривен бывшему начальнику смены. А этот ирод возьми да и выпей. Теперь сопит где-то рядом тяжело и обиженно, отработывает.

После того как завод в их поселке остановился, им только и осталось, что жить натуральным хозяйством. Надя держала трех коз, пару свиней. Битва за урожай в четыре руки шла на двух участках: в доме недавно почившей свекрови и на десяти сотках колхозного поля у черта на куличках, доставшихся им, когда делили общее поселковое добро. Их совместной с мужем пенсии хватало на всякое бытовое. Торговля самогоном приносила в дом лишнюю копейку на булавки и мороженое для внучки в дни привоза. В общем, не бедствовали. Дочка, когда приезжала, все шумела про их огородные дела. Мол, зачем вам столько, девать некуда, да и погреб забит. Надя лишь отмахивалась. Молодая еще, не знает про липкий голодный ужас, проваливающий живот так, что ребра наружу.

Ужас жил с Надеей, сколько она себя помнила. Его по наследству ей передала мать, а дочь не забрала, вот он и остался. С ним она просыпалась

еще до рассвета, садилась на скрипучей пружинной кровати, свесив ноющие с вечера ноги, и смотрела то в светлеющее окно, то на храпящего в соседней кровати мужа. Ноги не переставали болеть с тех времен, когда Надя работала на заводе продтоваров в Червонозаводском. В одну особенно холодную зиму в цеху она их промочила и застудила. До седых волос проклинала она то время, тяжелую не девичью работу и нелюбимого мужа, который забрал ее из родного села Лохвицы в лучшую – по его словам – жизнь. А привез работать на другой завод – сахарный.

Даже на пенсии жизнь сахаром так и не стала. Надя выходила из дома засветло с ведром воды в одной руке и ведром помоев в другой, кормила свиней, доила и выгоняла пастись коз. Возвращалась в квартиру покосившейся, поросшей мхом и плесенью трехэтажки, меняла синий потертый заводской халат на передник и начинала жарить, перетирать, закрывать, мыть, стирать и шпынять мужа, если тот засиживался за газетой или перед телевизором между делами. Вечером – еще один круг по хозяйству, загнать в дом и отмыть внучку, если лето, связать свитер или носки, если зима, провалиться в короткий тревожный сон без сновидений. А потом наступал новый день, и все начиналось сначала. Раз в неделю они загружались в красные «жигули» и ехали в соседнее село наводить порядки в доме почившей свекрови. А в теплое время, если удавалось растолкать мужа, отправлялись работать на поселковое поле.

Жирная мохнатая оса, встревоженная Надиным серпом, прыгнула с цветка клевера и унеслась прочь. Надя снова выпрямилась и чуть не брызнула слезами, обнаружив конец рядка так же далеко, как и в прошлый раз. Солнце так и висело над головой, выпаривая сладкие запахи из скошенной травы. Мужа слышно не было.

– Сашку, дэ ты е?

Тишина в ответ. То ли продвинулся далеко вперед, то ли разморился похмельем и дрыхнет где-то в траве.

Пил он всегда, сколько она его помнила. Пьяным вместе со своими друзьями вечность назад завалился он в дом ее матери перед отправкой в армию. Увидел, говорит, вашу доцюню на заводе и хочу жениться. Мать гнала их всех веником из дому, а потом этим же веником лупила почем зря Надю, которая дала уже Сашку свое обещание. Бушевала мать про то, что не будет ей счастья с этим обормотом. Но не дождала, как это бывало раньше, и осталась доживать свое время за сотню

километров от новоиспеченной семейной ячейки. Мол, не мытьем – так катаньем, все равно бросила, неблагодарная, говорила она, не простив Наде и первой попытки начать свою жизнь за пределами родного села.

Как трудовая ударница с грубыми руками отпустила опрятную молоденькую дочку в праздную бестолковую поездку в Москву, не ясно. Столица поразила воображение сельчанки, и по науськиванию подружки Ленки, что подбила ее вписаться в делегацию на фестиваль дружбы народов, она решила остаться. Надя устроилась помощницей по хозяйству в семью завхоза Елисеевского магазина. Готовила еду, убиралась в комнатах с высокими потолками и резной лепниной, в свободное время бегала с подружкой купаться на Речной вокзал и гулять по ВДНХ. Работа была ей не в тягость. Холеный хозяйский сынок докладывал матери вечерами, мол, Надя полдня на кухне хихикала. А как было не хихикать, если вся самая тяжелая работа по дому не могла сравниться даже с тасканием ведер ледяной воды с реки через все село зиму напролет, не говоря уже об остальных материних заданиях.

Мать писала ей письма в Москву – скучные и жалостливые. В двух словах о новостях: кто умер, кто женился. А следом одна и та же песня – вертайся домой. Бойкая Надина подружка Ленка приручила столичного ухажера, а сама Надя так и не научилась поднимать глаз на молодых москвичей. На второй год тоскливых материних писем сердце девушки не выдержало. Она получила у хозяйки расчет, обнялась с Ленкой, которая готовилась выходить замуж и оставаться в Москве, и села в поезд до Киева.

Добравшись на перекладных в родные Лохвицы, девушка снова взялась за привычные дела. Вскопать, прополоть, посадить, полить. А как наступила зима, поступила работать на завод продтоваров в Червонозаводском. После тяжелых смен молодежь устраивала гуляния в доме культуры при заводе. Парни красовались и женихались, девушки над ними подшучивали и взрывались залихватным смехом, улепетывая после танцев в свое общежитие от настойчивых ухаживаний. Надя расцвела. Матери, которую она навещала по выходным, один только платок, повязанный на затылке, уже мозолил глаз. За чаем стареющая женщина поучала молодую, мол, подруг не слушай – только мать тебе подруга, про дела свои никому не рассказывай – позавидуют. А Надя молча намазывала

теплый из печи хлеб малиновым вареньем, прихлебывала горьковатый черный чай и все думала о том, как снова сядет в автобус, что увезет ее в райцентр. Ведь там ее уже поджидал жилистый чернобровый Сашко.

Облака прикрыли солнце, и все вокруг погрузилось в блеклое марево. Надя поняла, что так и стоит с серпом в руке посреди поля. Все живое жужжит, летает, едва колышется, но лишь вокруг нее. То, что дальше, – замерло и притихло, как будто притаилось и ждет, что она будет теперь делать. Носовой платок выпорхнул из кармана и обтер лицо, шею и затылок от капелек пота. Спрятав его обратно, Надя широкими шагами двинулась в ту сторону, где в последний раз слышала раздражающее сопение мужа.

После свадьбы жить они переехали в поселок Орелька, развернувшийся вокруг сахарного завода. Там давали квартиры в новых хорошеньких трехэтажках, куда они и въехали с нехитрыми сельскими пожитками. Спустя время родилась дочка, через несколько лет – сын. Сашко выпивал, но исправно приносил в дом зарплату и отдавал почти все до копейки. Рядом в селе жила старая одинокая мать Сашко в белой хате, окруженной абрикосами и малиной. К ней на выходных возили детей, а летом муж сажал все семейство в красные «жигули» и гнал под возню младших и тычки от супруги к теще в Лохвицы.

Старуха во внуках души не чаяла, Надю чиховстила, а на Сашко кривилась. Всегда находились у нее поручения для молодой четы прежде, чем они, сдав детвору на каникулы, прыгали в красные «жигули», чтобы успеть вернуться к смене. Надя привычно повязывала косынку под подбородком, чтобы не раздражать хозяйку дома, и молча шла собирать, пропалывать, поливать и обрезать до самого заката. Муж ее рубил дрова, красил, чинил, а чуть солнце начинало катиться к горизонту, прыгал в «жигули» и мчал на всех парах в райцентр к заводским своим товарищам, что так и остались в Червонозаводском. Возвращался он оттуда взвинченный, красный, довольный, шумел, подшучивал над почерневшей тещей и побледневшей Надей. Сашко заваливался спать, а мать подливала чаю, брезгливо морщилась от нарастающего храпа, наставляла и выговаривала, пока совсем не выбивалась из сил. Тогда она, махнув рукой, уходила спать, а Надя оставалась

сидеть, тихо роняя слезы в нетронутую чашку, до первых петухов. С каждым годом слезинок было все меньше, а крику по дороге в Орельку – больше. И так до тех пор, пока мать не почилла, до чего, по мнению Нади, довел ее не кто иной, как Сашко.

Мужа в траве Надя не нашла. Его рядок обрывался на середине, серп покоился на кучке скошенной травы, а от нее в поле уходил примятый след в сторону деревьев. Как будто старый устал косить и направился к блаженному теньку подалее от супруги-командирши. Бросив свой серп рядом с инструментом мужа, абы что не вышло в сердцах, Надя направилась по следу. Она не кричала. Берегла силы, чтобы обрушить на Сашко весь скопленный гнев разом.

Трава мягкими лапками гладила оголенные от середины колена до калосш Надины ноги. Загрубевшая кожа не пропускала эту нежность, а бурлящее внутри застилало разум мутью, а глаза – слезами. В голове – голос матери: сначала – невнятное бормотание, затем с каждым шагом выплывающий в сознание фразы, которые Надя собиралась привычно швырнуть в лицо отлынивавшему от работы Сашко. Паразит, алкаш, *хай Бог мьлуе*, да как тебе не совестно, чтоб тебя черт побрал, туняец треклятый. Повторяя это про себя как молитву, она не заметила, как прошла мимо деревьев и потеряла след примятой травы.

Солнце так и не вышло из-за облаков. Птицы замолчали, и мир потускнел, потеряв всякую надежду его дожидаться. Куда было видно глазам, тянулись поля, холмы, редкие кустарники, повалившиеся изгороди. Ноги у Нади болели, каждый шаг давался с трудом, хотя трава вокруг обмельчала и сникла. Злость и обида, гнавшие ее прежде, как будто отпустили, сговорившись, что с нее довольно. Мать в голове затихла. Надя изумилась этой внезапной тишине внутри, какой не случилось с ней никогда в жизни. Она продолжала идти, хотя куда и зачем, не помнила.

Местность вокруг была уже совсем незнакома ей. То там, то здесь выныривали кирпичные домишки с мертвыми окнами. Листья с деревьев вокруг них давно облетели, а воздух наполнил запахом костров. Такой стоял над родным селом, когда выжигали стерни, чтобы подготовить поля под будущий урожай. В последнюю осень перед тем, как покинуть Лохвицы насовсем, они с матерью долго смотрели на взвившийся к небу костер в огороде. Надя – в предвкушении нового начала и счастли-

вой жизни, мать – злая и обиженная на то, что теперь некому будет помогать ей по хозяйству.

Ключий холод укусил Надю ниже рукава платья и в голую шею. Она зачерпнула калошей снега, и он тут же противно захлюпал внутри. Местность занялась всеми оттенками белого с черными жилами тонких деревьев. Широкие колеи вспороли землю там, где проходили танки. Перешагивая их, Надя поскальзывалась, падала, поднималась и снова шла. Дорога до боли стала напоминать другую, по которой ходила она в школу до тех пор, пока не попал в здание немецкий снаряд. В ту зиму дети сидели по домам, а мать рыдала и молилась каждый день, чтобы отец вернулся или хотя бы удалось где-то раздобыть угля.

Проходя мимо серой голой яблони с толстым стволом и раскидистыми ветвями, Надя увидела глубокие неопрятные следы. Кто-то брел здесь походкой неуверенной, волочил ноги, падал и поднимался. Кровавый бисер украшал встревоженный снег. Чуть поодаль большой и темной кучей в сугробе лежал Сашко. Старый, потрепанный, синеватый, с рассеченной дурной головой, которой он в пьяном угаре ушибся о яблоню по дороге в дом. Даже в смерти своей собачьей он умудрился вытрепать ей нервы, чтобы по всему этому чужому селу, куда перевезла их на старости лет дочь, пошли пересуды. И так были они здесь пришлыми, нелюдимыми, а теперь еще и стыд такой, что из дому не выйдешь и глаза не поднимаешь. Одним словом, паразит. Тяжело вздохнув над мужем, Надя побрела к дому.

Окна его горели приветливым желтым на фоне уходящего в черноту синего неба. Почищенная тропинка вела мимо аккуратного сруба бани, застекленной веранды с камином и огромной голубой ели, поникшей лапами под тяжестью снега. Ее еще малышкой сажал дочерин малахольный муж в тот год, когда помер Сашко. Пока был жив, не позволял он на участке заводить свои порядки, ругался на детей от обиды, что забрали его с родной земли, ходил удить рыбу на реку да к соседке за самогонкой. Дома Надя пить ему не позволяла, поэтому спать он уходил в летнюю кухню, где в заначке всегда лежал мерзавчик или, на край, одеколон. Там ревностно стерег он прилегающий гараж и ржавеющие в нем красные «жигули» – последнее, что осталось у него своего от той старой жизни в поселке при сахарном заводе. Когда трезвел – копал, сажал, полыл и поливал вместе с Надей несчастные шесть соток, доставшихся им вместе с домом.

Когда его не стало, битва за урожай была проиграна. Под четким руководством дочери, в обход всем возмущениям Нади, от убогого огорода осталось три грядки. Остальное засеяли газоном, поставили баню, террасу и лавочки с фонарями, как на картинках в глянцево-м журнале «Дом и сад». Деревянные оконные рамы вынесли, а вместо них вставили белые пластиковые окна, через которые Надя теперь смотрела внутрь из ночи на хозяйничающую в кухне дочь. В другом окне у телевизора сидел ее муж, при взгляде на которого у Нади скривилось лицо. Никогда он ей особо не нравился: суетной, болтливый, громкий. Из-за него дочь перебралась сначала в шумный Харьков, а затем и вовсе в другую страну, куда потащила за собой стареющих родителей, от всего родного и знакомого, что у них было, от могилы матери, продав кому попало дома, квартиру, а участки и вовсе бросив просто так.

Слезы замерзали на щеках у Нади, не успевая скатиться к подбородку. Ног она уже не чувствовала, а они все вели и вели ее к этому так и не полюбившемуся ей дому. В третьем окне горел лишь ночник, и тускло мерцал телевизор напротив кровати. В телевизоре пел хор, рядом с кроватью в кресле сидела женщина. Она облокотилась на руку и дремала. Лица Наде было не разглядеть, виднелась лишь ее макушка, мерно покачивающаяся в такт дыханию. В кровати лежало тело с ввалившимся полуоткрытым ртом и белыми короткими волосами. Надя провела рукой по голове, стащила платок и прижала его к груди там, куда выпала из-под него слегка припорошенная сединой коса.

Тело встрепенулось и застонало. Женщина вскинула голову и положила руку телу на лоб. Тело повернуло голову в сторону окна и впилося глазами в Надю. Оно ворочалось, задыхалось, выгибалось, насколько позволяли рассыпающиеся суставы. Вместе с ними рассыпалась и Надя. По крупицам прожитых лет, на осколки обид и сожалений, в круговороте жизни, одних и тех же ошибок, непрощенных и неотмоленных поступков. Умирать было больно и страшно. На улице было темно и холодно. Мать и Сашко дышали могильным тленом в спину.

– Бабушка, я тут. Не бойся... – сказала женщина телу.

И все успокоилось. Стало тепло и мягко в кровати, рядом с которой сидела внучка. В доме пахло малиной и свежим хлебом. Хор из телевизора убаюкивал Надю, а с прикроватной тумбочки милосердно смотрели оставленные дочерью иконы.